

— *Какая была самая первая книжка, помните? С чего Вы начались как читатель?*

Не зря наш бедный невольный карантин гонит нас от новости к новости и от обсуждения к обсуждению. Всё позабыли, всё заботы дня. Только и вопросов: когда конец и что с нами будет? Уже нет прежней уверенности, что всё будет, как было, прямо с запятой. И вот мои молодые коллеги задают мне вопросы как будто личного свойства, будто из интереса ко мне, будто «для работы» и чтобы и моя мысль не застаивалась. А я уж вижу, что они тоже шатаются, что и они будут менее уверены, чем прежде, что и у них такая привычная «система координат» (духовный наш позвоночник) тоже вроде как потеряла

надёжность, стала менее устойчива. И вот им захотелось проверить на чужом опыте — что там с ответственностью и общностью опыта. Вопросы были отвлечены и «художественны» и я, было, хотел отговориться — что я Вам, Умберто Эко какой-нибудь или Дмитрий Сергеич Лихачев, чтобы расставлять опоры? А потом раздумался и правда захотел оглянуться: что у меня самого-то с этой «системой», с этим внутренним «крестом» горизонтали общего времени и вертикали личной судьбы. Самому-то на что опереться?

А ведь и правда: была же, наверное, первая книжка и с чего-то же начинался, как читатель, раз дочитался до литературного критика?

И вспомнил! Вспомнил! Читать-то, вроде, выучился рано. У раскулачен-

Валентин Яковлевич Курбатов — критик, литературовед, член Союза писателей России, Совета по культуре при президенте РФ, жюри премии «Ясная Поляна», лауреат Государственной премии РФ, всероссийского конкурса «Патриот России 2020», автор многих книг и статей, постоянный автор журнала «Литературные знакомства».

ного дедушки в землянке, где мы жили с мамой и братом до 1946-го года. Выучился по псалтыри — единственной книге у деда, так что в школе потом сначала растерялся перед букварём без «еров» и «ятей».

Ну, и читал потом в школе в деревне и уже на Урале в Чусовом, куда мы с 1947-го года переехали к отцу, — как все и что все. А вот первая-то книжка, как именно книжка, как «чтение», вспомнилась сейчас случайно. Она называлась «Далеко ли до Сайгатки». Наверно, это было классе в пятом, а то и шестом, когда я рискнул записаться в городскую библиотеку. Помню только обложку, на которой по просёлочной дороге шла девочка с каким-то предметом под мышкой. Поди, именно из-за девочки и взял. Об эту пору уже поглядываешь на них не с одним ученическим интересом. Ни содержания, ни автора не помню. А только ощущение света и счастья от чтения.

Сейчас вот заглянул в интернет и сразу увидел эту обложку, и узнал автора, наверное, известного в ту пору, потому что у неё, Антонины Перфильевой, было много книг, кроме «Сайгатки». Прочитал первые страницы и сразу вспомнил то ощущение счастья:

...Варя сделала два шага и остановилась. Лестница скрипела и шаталась. Ступеньки на разные лады переговаривались.

«Смотри, сорвёшься!» — трещала верхняя, с широкими щелями.

«И пусть! И пусть!» — пищала нижняя.

Варя подумала, тряхнула головой и прыгнула на площадку. Перед ней была узкая фанерная дверь.

Она толкнула её. Сквозь забитое досками окно полосами падал свет, в нём плясали разноцветные пылинки.

Стропила обросли паутиной. Под ними бархатным слоем лежала пыль. Прямо на Варю по мутному воздуху шла большая серая тень.

— Фу! — сказала Варя и чихнула.

Дверь захлопнулась, тень пропала.

Чердак был весь завален хламом. Чёрный двугорбый предмет стоял между окном и сложенными рамами.

Пробираясь под стропилами, Варя задела его плечом. Предмет взвыл страшным голосом, а со стропил посыпались мусор и труха.

— Ну-ну! — сказала Варя.

Она сдёрнула с предмета покрывавшую его клеёнку и увидела жёлтые, как нечищенные зубы, клавиши. Четырёх не хватало, вместо них темнели дырки.

Варя потрогала клавиши: они пошипели и замолчали. Тогда она растопырила пальцы и с силой ударила по ним; клавиши опустились, и Варя показалось, что рядом жалобно заплакал ребёнок.

— То-то же! — сказала она. — Очень интересно, похоже на рояль.

Под полом кто-то громко три раза стукнул.

— Не дадут поиграть... — проворчала Варя и задёрнула клеёнку...

Значит, вот с этого ощущения счастья и началось настоящее «чтение» и явился на земле ещё один «читатель».

Ну, а потом уж действительно

поспел «читатель» в лучшем значении, когда этого не знаешь, а только дивишься в книгах неисчерпаемому чуду мира и родству его с тобой. «Читатель» — это, кажется, и есть тот, кто уверен, что мир писан для него. В «Сайгатке» уже всё было моё: и эта озорная девчонка (я бы тоже ударил по клавишам на чердаке и чуть картинно сказал: «Не дадут поиграть!»), хотя только и умения «играть», что вот так хватить по всем клавишам сразу).

А уж потом были гайдаровские «РВС», «Голубая чашка» и «Чук и Гек» — такие же чистые и сразу свои — Сайгатка была на Каме, в которую впадала «моя» Чусовая, а Гайдар и вовсе бывал в Чусовом. И опять об этом не думалось, а просто жилось в одно сердце. Как там у Тани Лариной: «Пришла пора — она влюбилась». Вот и тут все книги словно только меня и дожидались. И волновала сердце горьковская «Мальва», и счастливо ужасала тургеневская «Клара Милич». Моим вопрошателям хочется, чтобы «сюжет жизни» был последователен — вот, мол, как делаются писателями. Будто и не жил, а всю жизнь «становился», поэтому я почти не удивился второму вопросу:

Каков был первый писатель, с которым Вы познакомились? Какое произвёл впечатление?

Да не думал я ни о каких писателях, а жил себе да жил как все, и на книжки оставалось только то, что остава-

лось. Хотя, может, Господь и присматривал, подталкивая в драмкружок при Чусовском Доме культуры металлургов имени Карла Маркса (кого же еще в Чусовом?), а там уж и роли сначала в «Красном галстуке» Михалкова, к старшим классам и в «Женитьбе Бальзамина», и в «Двух капитанах», а это ведь тоже чтение и внимание к слову. А писатель в Чусовом был один — Иван Реутов. Я знал это по газете «Чусовской рабочий», где нет-нет да печатались его рассказы и стояло «писатель», что заставляло сразу читать уважительнее, хотя ничего из прочитанного не помню. И самого писателя не видел, и проверить «впечатление» не мог. А однажды в школе нас собрали на встречу с писателем Астафьевым. Только засмеяться. Вот как писал об этой нашей «встрече» сам Виктор Петрович, когда мне уже было шестьдесят: «Он был учащимся старших классов чусовской школы № 9, когда я уже стал ходить «в писателях» (улыбнусь в скобках, что потом он всегда ставил ударение иронически: «в писателях» — В.К). Однажды я выступал в этой девятой школе. Стол на сцене, покрытый красной скатертью-материей, цветы в вазочке, пионеры салютуют, приветствуя писателя, хвалят, и мне это очень даже по сердцу, нравится носить такое редкостное звание... Но что такое? Среди благоговейной тишины и робкого доверительного почтения смешки в задних рядах, шушуканье, гримасы, шевеления и прочие неудовольствия. Это

старшеклассники демонстрируют пренебрежение и презрение к местному творцу, уж кто как, но они ведают, что своем отечестве, тем более чумазом, дымом и сажей покрытом городишке, пророка нет и никогда не будет. Среди этих воинствующих в силу их возможностей недоброжелателей, узнал я впоследствии, присутствовал и будущий критик Курбатов». Впрочем, узнал об этом Виктор Петрович из моей к первой книжки о нём, где я и отвечаю на вопрос моих любопытных товарищей про «впечатление от писателя». «Писателя мы знали, он жил за школой на Партизанской улице и рыбачил с нами на Усьве. На трибуне этот худой мужик был такой же, как на реке. О писателях у нас было другое представление. «Оторваться» (нынешние школьники уже поди и не знают, что в наши дни это значило «сбежать», а не слушать, не отрываясь) было нельзя, выходы были перекрыты учителями — и мы сели сзади и спокойно прозубоскалили этот лишний «урок», не услышав из выступления ни слова...». Вот Вам и «знакомство» и «впечатление». А не будете задавать интеллектуальные вопросы. Ведь тут между вопросами-то — жизнь. И она только в непрерывности и ответ. Вот тут после «впечатления» от Астафьева невольно сразу просится вопрос: а потом? Потом-то, при взрослой встрече? Ну, и будешь не рад, потому что жизнь уцепится за повод и заторопится высказаться. Отчего старики-то так и разговорчивы — не



остановить. Им ведь тоже хочется «ощупать» себя и увериться, что живы. Мы все носим в себе матушку-историю и оказываемся так сплетены с нею, что однажды каждый сам для себя открывает, что история-то — это и есть мы: «сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье»...

Нарочно кивну одному из спрашивающих этой цитатой пастернаковского «Доктора Живаго». Ведь именно это чувство через каждого из нас проходящей истории и побуждает его после прочтения «Живаго», проходя в Москве Камергерским переулком, невольно искать глазами окно, где «свеча горела на столе, свеча горела» и мелькали эти «сплетенья»...

И как тут утерпеть и не рассказать ему, что за четыре года до его рождения я во флотском учебном отряде в архангельской Соломбале в скучный час дежурства по кухне вижу у плиты сваленные для растопки старые, списанные из библиотеки журналы, и, открыв первое попавшееся «Знамя» год за 55-й, натыкаюсь на стихи из «доктора Живаго». Убей не помню, знал ли я в ту пору о шумихе вокруг Нобелевской премии роману (после школы было не до книжек — хотел хватить в артисты: сказала художественная самодеятельность и отравилась «Щуку» и пошел в столяры в родном Чусовом — в надежде через год попробовать снова, но вот тут и явились флот и дежурство. А стихи остановили внимание, потому что в ту пору я, чтобы не терять времени, заочно учился в народном университете им. Крупской художественному чтению (куда денешь артиста-то?) и всякое стихотворение уже читал «вслух». Тут бы для сюжета мне и подпустить товарищу, что я остановился именно на «Свече», да уж не буду. Меня задел «Август» и «Белая ночь». И когда мне выпал «за беспорочную службу» недельный отпуск, я поехал в Москву к товарищу и там и прочитал своему «университетскому» педагогу эти стихи. Отвага была оценена, и у меня теперь есть крошечный диплом, извещающий, что я получил за это чтение «отлично». И как не воспользоваться случаем и не сказать флоту похвальное слово. За

четыре с небольшим года он научил меня быть радиотелеграфистом, наборщиком корабельной типографии, а в полтора последних года — и корабельным библиотекарем (видать, все-таки книжки «лезли из меня») и уж вот тут-то я и почита-а-ал! Прежде всего, конечно, жарко обсуждаемых экзистенциалистов, чтобы прочитав на все лады пересуживаемые тогда толстыми журналами камюсовскую «Чуму» и сартровскую «Тошноту». Они ещё не издавались у нас и пришлось выучиться польскому и купить эти книжки в Мурманске, где был магазин с «чужими» книгами, потому что порт был международный. «Тошнота» научила меня, в подражание герою, писать дневник. А уж камюсовский «Миф о Сизифе» и во все вооружил от всех переживаний об уходящем времени — имей мужество катить камень вверх, зная, что он тотчас скатится с вершины, и надо будет начинать сначала и начинать без отчаяния, потому что это и есть жизнь. Что было после этого не служить? А сами экзистенциалисты всё талдычили о Марселе Прусте, о его «утраченном времени» как о своем предшественнике. И — вот чудо! В «моей» флотской библиотеке без моих забот, наверное, из-за предисловий Луначарского было целых две книжки, изданные еще в тридцатые годы — «В сторону Свана» и «Под сенью девушек в цвету». Не хмыкайте, а поглядите материалы Первого съезда советских писателей, там только и было разговоров о Ремарке,

о Джайсе, о Прусте — советские писатели хотели объять весь мир. Пусть простит меня Северный флот: я при демобилизации утащил их с собой, как и маленькую книжку о русском экзистенциализме московского философа Пиамы Павловны Гайденко (через десятки лет я стану прихожанином собора Иоанна Предтечи в Пскове и однажды из случайной оговорки нашего настоятеля отца Андрея Давыдова узнаю, что это его матушка). Теперь бы взять да и снять эти книжки «на карточку», но в житейских скитаниях я давно растерял прежде любимые книги. Да и не писатель ведь какой-нибудь, чтобы беречь эти сокровища — прочитал и ладно. А вот теперь можно бы перейти к очередному вопросу:

Любите ли Вы общаться с писателями, поэтами, музыкантами, художниками, актёрами...

«Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу. — Люблю, — ответил тот, — я вкус в нём нахожу.»

Ну что ж, последую старине Козьме Пруткову и попробую определить этот «вкус общения». Всё началось там же, на флоте. Не все же читать — надо кому-то и рассказать, про что сам-то думаешь, на полях прочитанного. Да и время разговорчивое. Оттепель. Каждому хочется выкрикнуть: «Вот я!».

Мне было мало выпускать на крейсере газету «Искусство и мы», где находилось место и Камю с Сартром. Мало было читать со сцены Дома

офицеров Североморска «Наследников Сталина» Евгения Евтушенко, после чего меня прижал замполит, не знавший, что «уже можно», но я уже был хитрый и вытащил из кармана вырезку из «Правды», где это стихотворение было недавно напечатано. А «Правда» — это «Правда», там все буквы большие, это ЦК, и тут не пикнешь. И мало было мне читать вслух малому числу единомышленников в своей библиотеке после отбоя зажигательную книгу В. Н. Турбина «Товарищ время, товарищ искусство», из которой мы, бледнея от отваги, узнавали, что лучшим иллюстратором «Войны и мира», наверное, был бы Пабло Пикассо, потому что Наташа Ростова шептала о Пьере Безухове, что он «четвероугольный и красный с синим». А я в Чусовом копировал брюлловский «Последний день Помпеи» и был ещё весь «передвижник передвижником». Но тут я с Турбиным неожиданно согласился, но в общем — сам модернизм не принимал и спуску ему в своей стенной газете не давал. И однажды так осмелел, что написал заметку в газету «Комсомолец Заполярья» и «дал там прикурить» Сальвадору Дали, Джеймсу Пикабиа, Джаксону Поллоку и Хуану Миро. И подписался: «старший матрос Курбатов». Почитали бы эти «пачкуны» «Комсомолец Заполярья», знали бы своё место. Да вот, видно, наша газета не доходила до Испании и Штатов. Мне уже хотелось затеять переписку с теми, кто определял интонацию времени в литерату-

ре и я написал критику «Октября» (уже тогда начинавшему «бодаться» с «Новым миром») Ларисе Ивановне Крячко. И она отозвалась, отчитав меня за любовь к Юрию Казакову («сегодня мало слушать всхлипы гориллы на ветру» — это она о любимом мною рассказе «Трали-вали»), но зато поддержала мою критику рассказа Солженицына «Для пользы дела» и потом даже процитировала в своей «октябрьской» статье о рассказе мой тогдашний отзыв. И мне бы сейчас погибнуть от стыда, но меня утешает вычитанное мною в нынешнем интернете, что и сам Александр Исаевич считал потом этот рассказ «мельче других» и добавлял, что у него «противный осадок из-за него». Спустя сто лет он пригласит меня на церемонию вручения Солженицынской премии Инне Лиснянской, а потом я уже буду ораторствовать, по его приглашению, при присуждении премий Виктору Петровичу Астафьеву (привет средней школе номер 9 города Чусового) и Валентину Григорьевичу Распутину. И я так и не решусь спросить, знал ли Александр Исаевич мнение старшего матроса Курбатова о его «Пользе», сказанное в 1963-м году. Тогда же молодой и заводной журнал «Молодая гвардия» пригласил читателей принять участие в обсуждении новой рубрики «Комментирует Владимир Турбин». Как было

не отозваться — раз зовут. Я написал. Владимир Николаевич отозвался и переписка пошла так живо, что он пригласил меня — после скорой уже демобилизации — попробовать поступить в МГУ, где он преподавал, и я без страха (такие мы были демократические ребята) приехал к нему и поселился на старом диванчике. Но, желая помочь мне взглянуть на родную словесность пошире, Владимир Николаевич день на третий предложил мне почитать старую, довоенных лет издания, книжку П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении». Потом я узнаю что книжку написал в ссылке после лагеря Михаил Михайлович Бахтин, а подписал её его ученик, Павел Николаевич Медведев, по просьбе самого автора, чтобы наука не стояла на месте. Я был потрясён глубиной, чистотой анализа и блеском формы настолько, что по прочтении, пока Владимира Николаевича не было дома, тихонько положил книгу на стол, приложив записку, что мне никогда не достичь такой ясности и силы, а, значит, не стоит и соваться и занимать место того, кто достигнет, и ускользнул с гостеприимного диванчика навсегда. Владимир Николаевич потом нашёл меня в Чусовом, корил и просил вернуться, но мне уже было не победить комплекса. А там я скоро сбежал и из Чусового сначала в Ленинград, потом в Псков и стал жить...